

Валерий Лялин  
ПТИЦЫ  
НЕБЕСНЫЕ



Валерий Лялин  
**Птицы небесные (сборник)**

Православное издательство "Сатись"

2005

**Лялин В. Н.**

Птицы небесные (сборник) / В. Н. Лялин — Православное  
издательство "Сатись", 2005

ISBN 978-5-7868-0118-8

Когда жить предельно тяжело, остается надежда на Бога, и Он не оставляет  
надеющихся на Него.

ISBN 978-5-7868-0118-8

© Лялин В. Н., 2005  
© Православное издательство  
"Сатись", 2005

## Содержание

Серафима	6
1942 год на Волге	10
Хроники монастырской жизни	15
Конец ознакомительного фрагмента.	20

# **Валерий Лялин**

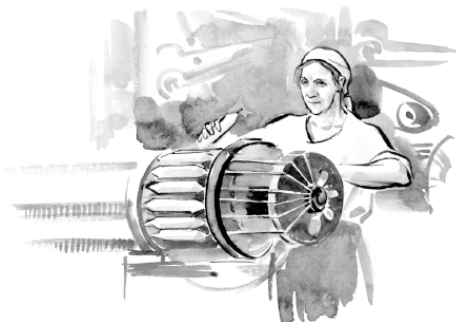
## **Птицы небесные**

© В.Н. Лялин, текст, 2005

© Издательство «Сатисъ», оригинал-макет, составление, оформление, 2018

\* \* \*

## Серафима



В начале двадцатого столетия в сером, невзрачном, недавно учрежденном уездном городе Иваново-Вознесенске видное место занимали большие ткацкие корпуса со множеством ярко освещенных окон и закопченными, красного кирпича, стенами. Из упиравшейся в небо фабричной трубы безостановочно валили клубы черного угольного дыма, в зависимости от погоды уходящие ввысь или стелившиеся по земле. Тяжелые паровые машины, пыхтя и сотрясаясь, вращали тянущиеся под потолками цехов железные оси, от которых шло множество шкивов-трансмиссий к сотням ткацких станков. Для того, чтобы нить в станках не обрывалась, в цехах была устроена удушливая тропическая жара. Работающие станки создавали в цеху оглушительный шум, и между ними, обливаясь потом, сновали полураздетые ткачихи. В свое время грубо и тяжело ревел фабричный гудок, оповещая уход одной смены и приход другой, это была известная ткацкая фабрика промышленника, купца первой гильдии Бурылина, изготавливающая знаменитые дешевые ивановские ситцы, идущие на потребу не только в Россию, но и в Среднюю Азию, Индию и Китай. Ткачихи, работающие на фабрике, не были трудовыми муравьями, как их после представляла советская печать, но многих, особенно давно работающих, Бурылин знал в лицо и вникал в их нужды, скорби и заботы. Одной из лучших ткачих у него была Серафима Новикова – рослая рябая женщина с добрым лицом и большими руками, которую молодые работницы звали «тетка Сераня». По требованию хозяина, мастер у себя в конторке, посматривая поверх тонких железных очков в цех, старательно составил список лучших работниц. Первой в списке значилась Серафима Новикова. Хозяин пригласил их к себе в особняк, куда они робко вошли, пораженные невиданной роскошью. В зимнем саду, среди пальм, фонтанов и цветов, был поставлен стол с богатым угощением. Бурылин, рассадив их по местам, поднял бокал с шампанским и, произнеся поздравительный тост, выпил с ними за их старательную работу. После обильного угощения развеселившиеся ткачихи слушали граммофон, где пела русские романсы Плевицкая, где комик-актер высоким голосом скороговоркой рассказывал анекдоты. После чего хозяин каждой ткачихе поднес в конверте денежную премию и памятный подарок. Тетке Серафиме достался плоский палисандрового дерева ящик, изнутри выложенный алым бархатом, на котором в гнездах лежали серебряные ложки и вилки. Довольные ткачихи разошлись по домам к своим мужьям и детям, а Серафима тоже пошла к себе домой, где ее ждали двое приемышей-сирот, родители которых умерли от холеры. Из-за того, что Серафима была рябая, замуж ее никто не взял. Так и жила себе она в небольшом деревянном домике в Хуторово, воспитывая двух мальчиков. Работа на фабрике была тяжелой. Еще до рассвета по гудку вставала, умывшись, молилась и, выпив чаю, шла на фабрику. Работа и впрямь была каторжная, по десять-двенадцать часов, никаких отпусков тогда не было и в помине.

Серафима, глядя на свои руки со вздувшимися венами, говорила, что ситцем, который она наткала за полвека, можно было бы одеть полмира. Больная, не больная – все равно надо было идти в цех, и только с Божьей помощью она совершила эту полувековую каторжную

работу. Часто утром вставала немощная, неотдохнувшая, но, помолившись и испросивши у Бога силы, шла на работу. При советской власти уже было полегче. И рабочий день меньше, и тебе отпуск, и больничный лист, и даже в доме отдыха раз побывала. От новой власти ей был пожалован орден «Знак почета». А ситец всегда был нужен людям, при любой власти – и в революцию, и в Отечественную.

Я приехал в Иваново навестить бабушку Серафиму в 1946 году, сразу после войны. Она уже по старости на фабрике не работала, хозяйствовала дома, получая скромную пенсию. Ее дом стоял в саду на краю города, и здесь было тихо и приятно. Только иногда, нарушая тишину, был слышен паровозный гудок и стук колес по рельсам проходящего вдали поезда. Да еще галки, живущие на колокольне закрытой заброшенной церкви, время от времени поднимали гвалт и летели скопом к бабушке в сад клевать ягоды, но всегда были с позором изгоняемы хворостиной зорко следившей за порядком хозяйки.

По приезду в Иваново я решил ознакомиться с его достопримечательностями, но таковых в этом еще недавно промышленном селе не оказалось. Мне предлагали осмотреть здание, где впервые в мире возникли «советы», или полянку на реке Талке, где впервые на маевку собирались рабочие, а бабушка Серафима посоветовала сходить в Бурылинский музей. Бурылин был большой оригинал, учреждая среди фабричных корпусов, жилых кирпичных казарм и серых сгрудившихся избушек музей, куда со всего света собирал разные диковины. Музей помещался в особняке в стиле «модерн». И первое, что я увидел, были два рогатых и клыкастых африканских дьявола, раскрашенные черной и красной краской, плотоядно вззирающие на посетителей. За ними в ряд стояли чучела разных зверей, среди которых я помню льва, гориллу и удава. Были здесь страшные японские и тайские ритуальные маски, орудие дикарей, полки с заспиртованными в банках уродами. Но жемчужиной музея была настоящая египетская мумия с оскаленными зубами и усохшим черным носом. Советский период был представлен почетными грамотами, медалями почивших передовиков труда, снопами ржи, льна и искусно сработанным из гороха портретом Сталина. Музей в революцию не разграбили, пострадала только коллекция уродов, из банок которых революционные матросы выпили спирт. Кроме музея, Бурылин в Иваново построил несколько церквей. Церкви в городе давно уже были не в почете, но в революцию постарались особенно, и священника сейчас днем с огнем не найдешь. Правда, в начале двадцатых годов на религиозное безвластие в Иваново прибыл самозванный обновленческий митрополит. Без бороды, со скобленным рылом, он, не скрываясь, курил папиросы «Ира», имел молоденьких наложниц и говорил такие срамные проповеди, что бабульки только ахали и, закрыв лицо платком, выбегали из храма. Потом и его унесло революционным ветром неизвестно куда.

Иногда я ходил гулять на окраину города к большому собору, стоявшему посреди капустного поля. Кочаны там росли отличные, большие и тугие. А вот собор был в абсолютном забросе. Дверей там уже не было, и посередине мальчишки развели костер, пекли картошку и калили железную трубу с водой, которая стреляла в потолок деревянным кляпом. На стенах и под куполом хорошо сохранилась роспись, и спокойные лики святых угодников безмолвно взирали на эту мерзость запустения. По окружности купола шла золотыми буквами четкая надпись: «Чистые сердцем Бога узрят». Народ здесь как-то легко поддавался безбожной пропаганде и совершенно отпал от Бога, и Бог у них никакой стороной не присутствовал в жизни. Но бабушка Серафима от Бога не отрекалась. «Дураки вы, дураки, – говорила она, – главное-то в жизни – Бог, а вы потеряли Бога, да Он не сразу откроется вам».

Утром и вечером она вставала на молитву перед иконами в восточном углу, где тихо мерцала зеленая лампадка, и просила у Бога не здоровья, не достатка, не еще каких-либо благ, а просила она, чтобы скорее кончилось это безбожное время, вновь открылись храмы и вновь запели Пасху. Раз в году, на Светлое Христово Воскресение, ездила она в Троице-Сергиеву

Лавру, чтобы исповедаться и причаститься. Возвращалась тихая, задумчивая, и в ее голубых глазах светилась радость.

Лето уже приближалось к концу, но дни еще стояли теплые, солнечные. Я брал у бабушки Евангелие – книгу в то время редкую, запрещенную, и уходил в сад. Там, лежа на траве, среди сухого малинника, я долго смотрел на плывущие в небе облака и думал о том, что вся жизнь у меня еще впереди, что в ней еще будут радости, а может быть, скорби. Но скорбей пока еще не было, и я, повернувшись набок и подперев голову ладонью, читал Евангелие: «Авраам родил Исаака; Иаков родил Иуду и братьев его». И как-то сладостно было на сердце от этих простых слов: «Авраам родил Исаака», – и наше зыбкое временное и непрочное бытие виделось неколебимым и вечным, и на призыв Христа – «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас», – хотелось ответить радостными слезами и, взяв посох и котомку, ни о чем не думая, идти к дальним неведомым горизонтам.

Я подолгу читал Евангелие, осторожно переворачивая пожелтевшие страницы, пока на крыльцо не выходила бабушка Серафима и, приставив к глазам козырьком ладонь, высматривала меня в саду и кричала: «Валюша, иди обедать!»

В те далекие послевоенные голодные годы обед был немудреный. На первое бабушка подавала постные щи, обильно посыпанные укропом. На второе – оладьи из вчерашней пшеничной каши, политые горьковатым льняным маслом, на третье – чай с сахарином. Чай у бабы Серафимы был возведен в культ. Пила она его только из самовара, который кипятила уже с раннего утра. «Пока я не выпью чая, я как неживая, – говорила она. – Надо, надо брюхо чайком прополоскать». После чая она и впрямь оживлялась и принималась за дела. Дел у нее было много: пойти привязать козу на травку, покормить обедом своих воспитанников, когда они придут с работы. Все она делала спокойно, не торопясь, все с молитвой. Поэтому и приготовления ее всегда были вкусные. Вспоминала она и Бурлына – из стеклянной горки доставала плоский заветный ящик и показывала серебряные ложки и вилки, которые не продала и не променяла в самый лютый голод.

– Я за свою жизнь никого не обижала, всех жалела и многим помогала, как могла. Можете по всему Иванову пройти и спрашивать: обижала ли кого бабка Серафима? Я думаю, что такого человека не найдете, – как-то вечером, сидя за чаем, без хвастовства говорила она. – Наш род пришел в Иваново-Вознесенск с реки Суры. Она впадает в Волгу. Там мы жили, пока не приехал к нам вербовщик, приказчик бурьлинский, набирать ткачих на фабрику. Приказчик молодой, пригожий, веселый, говорил сладко, приманчиво, плясал, играл на гармошке. Ну, девки с нашей деревни, все мои сродницы, и двинулись скопом в Иваново. Там очень-то хорошо не было, но и плохо не было. Девочек вскоре разобрали замуж, а меня, рябую, никто не взял. Так и осталась вековухой. Кому рябая нужна? Вот на фабрике меня ценили за работу. При советской власти я больше наставницей была для молодых ткачих.

Хотя бабушка Серафима потомства не оставила, но воспитала двух сирот и на работе не посрамилась. Умерла она легко, потому как больших грехов за ней не водилось. Вечером помолвилась, легла спать, так и уснула вечным сном. Пришли ее подруги-старушки, обмыли, опрятали покойную, читали по очереди Псалтирь. Воспитанники, тем временем, поехали в Сергиев Посад отыскивать батюшку. Нашли заштатного, старого и очень нуждающегося батюшку. Привезли его в Иваново. Отпевать пришлось на дому, и батюшка отпел Серафиму по полному чину. Все было сделано честь по чести. Погребение совершили на кладбище возле Куваевского леса. На могиле поставили православный крест с надписью: «Серафима Ивановна Новикова». Подарок от Бурлына она завещала продать, а вырученные деньги отвезти в Троице-Сергиеву Лавру на помин души, что и было сделано.



## 1942 год на Волге Рассказ старого солдата



Вхождение в войну обычно начинается с вокзала, где происходит погрузка воинской части в эшелон, составленный из платформ и старых щелястых обшарпанных товарных вагонов, в которых теснились солдаты. На платформах везли полевые кухни, танки, грузовики, пушки и зенитные установки с прислугой на случай налета немецких «юнкерсов».

На дворе еще стояло бабье лето, и поэтому двери вагонов были открыты, но перегорожены деревянной балкой, чтобы какой растяпа не вывалился на ходу. Немецкая авиация уже активно действовала в этом регионе, и поэтому наш эшелон двинулся ночью. Видимо, машинист не отличался деликатностью, вначале осадил назад так, что лязгнули стальные буфера, а затем резко рванул вперед, так что мы горохом посыпались с вагонных нар на пол с криком и матерком в его адрес. Мы были полностью экипированы и оснащены всем, что полагается по штату. Во-первых, громоздкой мосинской винтовкой образца 1891 года с трехгранным штыком вороненой стали, про который наш старшина Степан Охрименко, протирая его суконкой, любил говаривать, что «пуля дура, а штык молодец».

На ремне в патронных сумках – полный комплект обойм с новенькими желтыми патронами и торчащими из них острыми пулями, которые я бы не назвал дурами. При ходьбе по заду ритмично хлопала саперная лопатка в чехле, годная не только для копания, но и для схватки в траншеях в ближнем бою. Стальная каска спасала только от комьев земли и камней, но осколки снарядов довольно легко рвали и дырявили ее. На боку в зеленой торбе висел еще противогаз с носатой резиновой харей, тут же был прицеплен круглый солдатский котелок – наш лучший друг и питатель, неразлучный до могилы. Пилотка с красной звездочкой украшала, но не грела наши головы. Серая шинельная скатка – дорогая подруга на всю солдатскую жизнь. На ногах грубые тяжелые ботинки на резиновом ходу с обмотками до колен. В брюках-галифе – узкий специальный карманчик с роковым черным пластмассовым футлярчиком, куда вкладывалась бумажка с нашей фамилией и адресом родителей и который была обязана сохранить похоронная команда.

А паровоз наш несется по степи во тьме ночной, выбрасывая из трубы клубы черного дыма с огненными искрами, и везет он нас не на побывку к матери в деревню, а в самое жерло, самое пекло сражения за Сталинград. Хочется высунуть голову в дверь, чтобы хватить глоток свежего воздуха, но высовываться нельзя, сразу схватишь кусок угля в глаз и намучаешься с ним потом. Потом стук колес, заунывно играет гармошка. Это наш ефрейтор Вася Селезнев, свесив с нар ноги, играет и поет сирым прокуренным голосом: «Черный ворон, что ты вьешься надо моею головой, ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой».

Старшина Охрименко ругается и приказывает Васе рвануть что повеселее. Вася делает задорное вступление и поет, как с «одесского кичмана бежали три уркана...»

Утром старшина, вскрыв несколько банок с американской колбасой и разрезав ее финкой на вертикальные дольки, производил солдатский дележ. Наводчик противотанкового ружья Кузьма Брюханов был поставлен лицом к вагонной стенке выкрикивать фамилии. Старшина, подцепив финкой кусок колбасы, спрашивал Кузьму: «Кому?!» Кузьма кричал: «Иванову». Иванов подходил и снимал с ножа свою долю. Старшина опять кричал: «Кому?!» Кузьма: «Юсупову!» Старшина с куском колбасы на ноже обернулся к Юсупову: «Юсупыч, колбаса из чушки. Будешь брат?»

Юсупов – коренастый узбек, заряжающий ПТР, – ослабившись, подошел и, сняв кусок, положил его на хлеб. «Чушка, барашка, все равно кушать мала-мала надо. Барашек ёк – кушай чушка, чушка ёк – кушай махан».

Впоследствии, когда немец вплотную прижал нас к берегу Волги, а снабжение из-за ледохода прекратилось, то все мы ели махан и радовались еще, что нам подвернулась старая кляча. Поев и попив из канистры воды, курили сибирскую махорку «Бийский охотник». Щепотью доставали из кисетов грубую крошковатую махорку, сыпали ее на клочок армейской газеты и завертывали, послунив края. Старшина Охрименко свертывал себе солидную козью ножку, и вагон наполнялся синим махорочным дымом так, что некурящие заходились в кашле и старались держаться ближе к открытой двери. Крепка и забориста была фронтальная махорка. Про то, что нас ожидает, старались не говорить, а больше вспоминали то, что оставили дома. Война уже показала свой страшный оскал. В степи за станицей Лиски три немецких «юнкерса-88», покружась каруселью, пошли в пике на эшелон и клали бомбы по обе стороны полотна. С платформ огрызались скорострельные зенитные пушки и строчили крупнокалиберные пулеметы. От одного «юнкерса» пошел легкий дымок, и все они, развернувшись, ушли на запад. В нашем вагоне осколком бомбы убило молодого солдатика Родионова. Небольшая такая ранка была в правом виске, и крови-то вытекло совсем мало, но тем не менее он был мертв. Хоронили его на полустанке в степи. Место нашли на горке, сухое, песчаное, могилку выкопали неглубокую, просторную и положили его во всем одеянии: гимнастерка с застегнутым ремнем, пилотка со звездочкой, сапоги новые на нем. Все честь по чести. Лежит родимый, молодой, красивый парень, и все при нем. Жить ему да жить, а тут засыпали землей и отправили в веки вечные. Дали салют из винтовок и разошлись по вагонам.

Наконец ночью мы прибыли к Волге, переправились на левый берег и стали в резерв недалеко от Средней Ахтубы. Страшно было смотреть, что происходило на правом берегу. Сталинград, протянувшийся по правому берегу Волги на пятьдесят километров, был весь в огне. Черным дымом заволкло небо, и не было видно солнца. Немецкая авиация делала на город по две, иногда по три тысячи вылетов в день. Сбрасывали не только мелкие осколочные бомбы, но и бомбы по половине и по тонне весом, так что земля взмывалась и ходила ходуном, как при землетрясении. Кроме бомб для устрашения немцы сбрасывали рельсы, железные тракторные колеса, бороны, листы котельного железа, и все это с диким воем, скрежетом и лязгом летело с неба в город.

Сами «юнкерсы», входя в пике, включали мощные сирены, и тут только от одних адских звуков душа готова была выскочить из тела. Перед нами была прижатая врагом к берегу Волги 62-я армия генерала Василия Ивановича Чуйкова. В виде дуги флангами она опиралась на берег, фронтом же занимала несколько улиц. Немцы через радиоустановку призывали сдаваться: «Рус, завтра Вольга буль-буль!» Против наших двух армий, защищавших Сталинград, – 62-й и 64-й, уже потрепанных и обескровленных еще на подступах к городу, стояли мощные, постоянно пополняемые солдатами и техникой, 6-я армия генерала Паулюса, 4-я танковая армия генерала Гота, группировка из нескольких дивизий «Шехель», 4 румынские пехотные дивизии и 4-й немецкий воздушный флот, имеющий более тысячи боевых самолетов.

Переправа на правый берег Волги обычно осуществлялась по ночам в целях безопасности, но все равно немцы по ночам беспрерывно подвешивали над переправой осветительные

ракеты и вели обстрел из орудий и крупнокалиберных пулеметов по бронекатерам и баржам. Потери при переправе были всегда, и Волга, окрашиваясь кровью, несла вниз по течению тела русских солдат и обломки барж.

Утром, прибыв на правый берег, я увидел дымящийся и лежащий в руинах город с почти непроходимыми улицами, заваленными обрушившимися стенами домов, столбами и деревьями. Среди руин стояли разбитые сгоревшие танки, бронетранспортеры, грузовики и лежала целая армия трупов. Они были везде: в руинах домов, на улицах, в подвалах, в оврагах и траншеях. Особенно меня поразила пересекающая город река Царица, протекавшая в узкой глубокой балке, русло которой было сплошь завалено трупами, так что не было видно и воды. Они лежали в разных нелепых позах, раздувшиеся и страшные в своем неправдоподобии. Немцы не прекращали свои атаки ни на один день. В том числе, пытаясь по мелкому руслу реки Царицы прорваться к Волге, где их и уничтожали шквальным пулеметным огнем.

Из вновь прибывших бойцов формировали штурмовые группы для ночных боев. Группы были небольшие, не более шести человек. Вместо винтовок нам выдали автоматы Шпагина, гранаты и ножи, а мне еще дали ранцевый огнемет. Командовал нами опытный в ночных боях сержант. Нашей задачей было ночной вылазкой проникнуть в дома, где на верхних этажах засели немецкие снайперы и солдаты с крупнокалиберными пулеметами, обстреливавшими водную переправу, и уничтожить их, а также минировать эти дома и подходы к ним. Тихо, как тени, пробирались мы в развалинах, прислушиваясь, где могли находиться немцы. Обнаружив их, мы действовали молниеносно: подкравшись, бросали в помещение гранату и после взрыва давали еще очереди из автоматов, и, если этого им было мало, я бил туда огненным шквалом из огнемета. После этого мы также быстро исчезали, чтобы избежать скорого возмездия. Итак, всю ночь крались мы по развалинам, выискивая очередные жертвы, и опять быстрый бросок и отступление. Бывало, что не все возвращались из ночных рейдов: некоторые были убиты, некоторые попали в плен. Раненых товарищей мы тащили на себе, сдавали их в медсанбат у переправы. Как-то быстро наступили зимние холода, и мы дрогли от холода в своих землянках. Печурку топить было нельзя, так как немцы сразу засекали дым и начинали обстрел из минометов. Они уже были близко от наших позиций, буквально в ста метрах, а кое-где на бросок гранаты. На Волге образовалась шуга, а потом пошел лед, и снабжение на какое-то время прекратилось, потому что лодки и катера затирало льдинами. На помощь пришла авиация, сбрасывая на парашютах боеприпасы и продовольствие, но немцы были так близко от нас, что часть грузов попала к ним.

Хитрый узбек Юсупов придумал какой-то особенный дымоход, шедший по земле и прикрытый ветками, чтобы дым рассеивался. Тогда мы обогрелись и варили мерзлую конину.

Юсупыч говорил: «Чушка ёк, махан бар. Война кончал, все ко мне в Коканд едем. Месяц сидеть будем, плов кушать будем, кок-чай пить будем».

– Вряд ли, Юсупыч, придется тебе кок-чай пить. Отсюда живым не уйдешь, – сказал старшина.

– Не надо меня убивать, дома маленький баранчук есть. Кто им кушать будет давать, если Юсуп помирай?

– Это что, барашков ты что ли жалеешь? – спросил старшина.

– Нет, баранчук эта мой маленький детишка есть.

Помню, в декабре на немецкое Рождество было затишье, да и немцы уже потеряли свой дух, потому что не смогли выполнить приказ Гитлера: «Во что бы то ни стало овладеть Сталинградом и сбросить русских в Волгу». И мало того, сами уже попали в окружение, но сдаваться не хотели и бешено оборонялись, наносили урон нашим войскам и сами несли большие потери.

На этот раз нам дано задание ликвидировать пулеметные гнезда на верхних этажах дома специалистов. Около двенадцати часов ночи мы прокрались к этому дому и, затаившись, выясняли обстановку. Немцы спустились в нижний этаж дома и справляли свое Рождество. Их

было четверо, по голосам мы определили, что они находятся в порядочном подпитии. Было слышно, как один играл на губной гармошке, а другие пели рождественскую песню «Хайлиге Нахт». Пели пьяными голосами и с какой-то большой тоской, так как знали, что дела их плохи и близок полный разгром.

Это были пулеметчики, которые постоянно обстреливали нашу переправу. Один из них, продолжая напевать, вышел из дома и стал мочиться на стенку. Я прыгнул на него сзади и ударил финкой в шею. Из раны хлынул фонтан крови, и он, захрипев, повалился на снег. Я обшарил его карманы и вынул документы. Тут из-за облака вышла луна, и я увидел у него на брюках привинченный советский орден Красной Звезды. Я быстро вырезал его финкой и положил в карман. Потом подозвал товарищей, и мы приготовились к броску. Немцы из комнаты уже звали пропавшего Вилли. Мы ворвались в помещение и перекололи их ножами. Поднявшись на верхний этаж, обнаружили два крупнокалиберных пулемета и привели их в негодность.

Днем мы обычно отсыпались в блиндаже, хотя немцы предпринимали непрерывные атаки, а с левого берега в расположение немцев с воем летели реактивные снаряды «катюши» и снаряды тяжелой артиллерии. Все тряслось, грохотало, с накатов на нас сыпалась земля, но мы привыкли и спали.

Проснувшись, мы садились закусьвать. Были у нас трофейные деликатесы, принесенные из ночных рейдов. Если бы не эти трофеи, то мы почти всегда ходили бы голодные, потому что со снабжением было плохо. Главное, чтобы были боеприпасы, а уж снабжение пищевым довольствием было на втором месте. Из трофеев, помню, ели мы итальянские сардины, упакованный в пленку непортящийся немецкий хлеб. Спаржу в банках мы попробовали и выбросили, как не подходящий для русского брюха продукт. Ели шоколад в круглых оранжевых коробках. Сибирская махорка к нам давно уже не поступала, и нам приходилось курить слабые сигареты с верблюдом на пачке под названием «Варум ист яно рунд». Попадался нам отличный французский коньяк, а немецкий «шнапс» был сушая дрянь, наверное, из опилок.

Запасались мы и немецкими боевыми гранатами. Они имели длинную деревянную пустотную ручку, и гранату можно было прицельно и далеко бросить, а когда она падала, то ручка не позволяла ей катиться в сторону от цели. Однажды ефрейтор Вася Селезнев спрашивал старшину Охрименко:

– А правда, Степан, что с немцами Сам Бог?

На что старшина Охрименко, постучав согнутым пальцем по Васиному лбу, обозвал его глупым теля. И дал такое объяснение:

– С ними не Бог, а сатана, если посмотреть, что они творят с нашей страной и нашим народом. Вот был прекрасный город Сталинград, а во что они его превратили?! Пепел, камни и трупы. А то, что с ними Gott, то это правда, но какой Gott? Разве ты не знаешь, кто у них командует танковой армией? Да сам генерал Гот. Вот тебе и «Gott mit uns»!

– И то правда, старшина.

С приходом ночи наша штурмовая группа опять выходила в рейд. Так и жили мы от ночи до ночи. Так было до 22 ноября 1942 года, когда, развивая наступление, части Юго-Западного фронта соединились со Сталинградским фронтом, замкнув кольцо. В окружении оказалось 330 тысяч человек. Вначале немцы сопротивлялись упорно и все надеялись, что их деблокируют и выведут из окружения группы генералов Гота и Манштейна, но все было напрасно. Эти группы были нашими войсками разбиты и отброшены. До 10-го января мы в составе 62-й армии атаковали немцев штурмовыми группами. От нашей роты в живых осталось всего два человека – я и узбек Юсупов. В конце января 1943 года, находясь в безвыходном положении от голода, морозов и отсутствия боеприпасов, подвергаясь постоянным артобстрелам и бомбежкам, немцы стали сдаваться в плен тысячами. А 31-го января в плен был взят весь штаб Шестой германской армии вместе с фельдмаршалом Паулюсом. Я стоял на Мамаевом кургане, смотрел

на разрушенный и сгоревший город и думал: «Поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» А внизу, к Волге, куда они так стремились, конвоиры вели сотни тысяч немецких пленных. На них было жутко смотреть: так они в лютый мороз были плохо одеты, оборваны, истощены и обморожены. Их переправляли за Волгу и размещали в бараках, но рок преследовал Шестую армию. Как я после узнал, среди пленных началась повальная эпидемия сыпного тифа, так как все они были завшивлены. Слабые, обмороженные люди были уже не в силах сопротивляться болезни, и от Шестой армии фельдмаршала Паулюса мало что осталось.

Вся Германия, узнав о гибели Шестой армии, была в шоке. Гитлер объявил трехдневный траур, но падение гитлеровской Германии было уже неотвратимо. Так закончилась великая и кровавая битва за Сталинград, где ценой тяжелых потерь нами была одержана Победа.

*16 мая 2001 г.*

## Хроники монастырской жизни (Рассказ в письмах)



*15 марта 1945 года.*

Дорогой Кузьма Иванович, привет из Ленинграда! Пишет Вам племянник Василий. Я все по-прежнему в этом несчастном многострадальном городе, так из него никуда и не выезжал. Жизнь здесь понемногу налаживается: отменили затемнение, еще с лета 1942 года ходят трамваи, но следы войны и блокады видны повсюду. Народа на улицах еще мало. Много разрушенных и сгоревших домов, да и оставшиеся дома какие-то серые с грязными подтеками на стенах. На перекрестках улиц угловые окна домов заложены кирпичами и оставлены только узкие амбразуры для пулеметного обстрела. На стенах домов надписи: «Бомбоубежище», «Эта сторона улицы наиболее опасна при артобстреле», «Враг не пройдет!», «Место складирования трупов».

Снабжение неплохое, но все по карточкам. Есть и коммерческие магазины, где продукты можно купить без карточек, но все очень дорого. Еще я прошу Вашего благословения, чтобы определиться мне в Псково-Печерский монастырь. За войну, и особенно за блокаду, я натерпелся и нагляделся такого, что нет уже у меня сил жить в миру. Вы у меня единственный родственник, и хотя Вы сейчас не у дел, но все же на Вас сан, и благословение священника для меня многое значит.

С нетерпением жду Вашего письма, Василий.

*20-го июня 1945 года.*

Дорогой Кузьма Иванович! Ну вот, наконец-то кончилась война. Девятого мая на Дворцовой площади было большое гуляние. Люди радовались, обнимались, все были такие счастливые, что даже передать невозможно. Был салют из пушек, фейерверком все небо украсилось, как в сказке.

Не дай Бог пережить такого, что мы пережили в Ленинграде за эту войну.

Из монастыря мне пришел ответ, что пока принять не могут, но просили предварительно приехать к ним с документами для знакомства и переговоров. Наверное, желающих много, а монастырь всего один.

Сегодня приехали из эвакуации соседи Ларионовы, которые живут над нами на третьем этаже. Открыли квартиру и – о, ужас! Блокадная находка. На кухне, на полу, лежит почерневший, разложившийся труп их домработницы Паши, которую они оставили сторожить квартиру. Я помню эту девушку еще с довоенных времен, приехавшую из Псковской области. Она всегда у нас под окнами выгуливала хозяйскую собачку. Помню, что как псковитянка она вместо «ч» выговаривала букву «ц». «Собацка», – говорила она. Война разразилась внезапно, и хозяева, прослушав сводку «от Советского Информбюро», что немцы быстрым ходом прибли-

жаются к Ленинграду, сразу наладились уезжать. Были они люди зажиточные, ученые – семейная пара и мальчик небольшой с ними. Паша, их прислуга, просила взять и ее, но они отказались и велели стеречь добро и квартиру. Добра у них было много, и все старинное, дорогое, красивое. Было у них и столовое серебро, и мебель из барских особняков, и дорогие картины русских художников. Наследственное все это было или натащено во время революции – не знаю, но все это было велено Паше стеречь и блюсти и никого в квартиру не пускать.

Сегодня, когда я услышал на лестнице беготню и какой-то переполох, то поднялся на третий этаж посмотреть, что там происходит. Двери квартиры были настежь раскрыты, хозяйка на площадке сидела на чемоданах и зажимала носы платками. Я вошел и увидел черные, покрытые блокадной копотью стены и потолок, копоть гирляндами свисала с люстры и картин. В кухне дворники, зажимая носы, скребли лопатами, сгребая по частям труп Паши. В комнате, где она зимовала, я увидел типичный блокадный быт. Посередине из мебели, ковров и одеял был сооружен шатер с логовом внутри, рядом стояло ведро с засохшими экскрементами, выбитые взрывной волной оконные стекла закрыты фанерой, картинами и картоном. В комнате царил мрак от несусветной копоти. Видимо, постоянно дымила железная печка – «буржуйка», стоящая у двери. Жестяная труба тянулась через всю комнату в окно. Около печки валялся ржавый топор и разломанное кресло. На столе была коптилка с коротеньким фитильком, кухонный нож и грязная пухлая тетрадка, куда Паша записывала некоторые эпизоды своей горемычной блокадной жизни.

Я унес с собой эту тетрадку и кое-что приведу Вам, Кузьма Иванович, в этом письме, чтобы Вы имели представление, как мы здесь боролись за свою жизнь, страдали и умирали. Вот что писала Паша:

*«10 октября 1941 года.*

Сегодня наш дом дрожал и качался во время немецкой бомбежки. Вылетели все стекла. Говорят, что бомбы кидают большие, по полтонны и даже по тонне. Я уже не пряталась в убежище. Сажу в квартире. Просто не было сил бегать туда-сюда по лестнице. Я занималась тем, что сдирали обои со стен и скребла их ножом. Ведь их когда-то клеили заварной ржаной мукой. Из того, что наскребла, я варила болтушку и пила ее, хотя на зубах скрипела и драла горло известка.

*1 декабря 1941 года.*

Случайно в жестяной банке нашла корицу и еще какие-то пряности и съела их вместе с засохшими цветами, что стояли на полу у окна. Сегодня около булочной поменяла свои золотые сережки на плитку столярного клея, варила его и ела понемножку.

*15 января 1942 года.*

Лицо опухло, глаза как щелочки. Начался понос. Ходила в поликлинику, дали каких-то таблеток. Когда шла назад по Малой Зелениной, вспомнила, что за высоким забором был дровяной склад. Хотела украсть пару полешек, открыла калитку, а там лежат мороженые покойники. Я не испугалась, их и на улицах много лежит.

*10 февраля 1942 года.*

Понос перешел в кровавый. Просила соседку позвать из поликлиники врача. Она ходила, но там отказали. Сказали, что к неработающим не ходим. Теряю последние силы. Вся опухла. Нечего есть и нечем согреться».

На этом, дорогой Кузьма Иванович, записи обрываются. Останки Паши уже унесли, но на деревянном полу остался след ее тела с раскинутыми руками.

*1 марта 1947 года.*

Дорогой крестный, я уже хожу в трудниках монастырских и приставлен к старцу Пафнутию. Старец строгий, если что не по нем, то учит меня посохом. Настоятель архимандрит Нектарий принял меня хорошо, договорился с властями о местной прописке. С этим здесь сложно. Настоятель – еще крепкий старик с большой черной бородой и очень хороший проповедник. Когда он говорит, так заслушаешься, обо всем забывая. Сегодня благословили меня белить деревья на «Кривавой дорожке», на братской трапезе читал жития. Конечно, вначале мне было здесь тяжело. Все испытывают мое смирение. Раз велели наполнить пожарную бочку, а ведро дали худое. Я целый день носил воду и никак не мог ее наполнить. Монахи думали, что я буду возмущаться и брошу дело, но я, как заводной, ходил и ходил. Тогда они смилостились и дали хорошее ведро. А старец мой похвалил меня за терпение, незлобие и смирение. Звонарь отец Иегудиил учил меня звонарному делу. Дело это непростое. Одной ногой надо качать петлю каната большого колокола, а обеими руками дергать веревки малых колоколов. Не получалось. Я даже чуть не заплакал. Долго молился у чудотворной иконы «Успения», все просил вразумить меня. И потом получилось, и все пошло как по маслу. В Никольском храме поставил свечу на «канун» и просил отслужить панихиду по многострадальной Паше. Просил и своего старца молиться за упокой ее души. Дворники закопали ее останки подальше от дома на Взморье. Это у нас такое большое пустынное место. Хозяева им заплатили, они и закопали без хлопот. В то время это было просто. Старец расспрашивал о Паше, и я ему рассказал о ее гибели и записях в тетрадке. Старец спросил: «А покрасили ли на полу след тела Паши?» Я сказал, что не покрасили и топчутся бесчувственно по этой тени. Отец Пафнутий сказал:

– Не избежать им Божьего наказания. Не избежать до четвертого колена. Большо-ое покаяние им надо сотворить, чтобы спастись и грех тяжкий искупить. Ведь они к этой девушке отнеслись, как к собаке. Как собаку, оставили стеречь хозяйское добро. И закопали, как собаку, на пустыре. А ведь Паша была – Храм Божий, а они разорили его. Вот за свой неискупленный грех и сами все повалятся. Не надо забывать, что Бог есть не только Любовь, но и Огонь Пожароопасный. А верующая ли эта семья? По их делам-то не похоже.

– Нет, отче Пафнутий, неверующие.

– Тем хуже для них. Если бы были верующие, то гнев Господень можно было замолить, искупить. Заказать за Пашу в церкви сорокоуст, перенести прах на православное кладбище, конечно, с отпеванием, крест на могилке поставить. Всегда молиться за упокой ее души и нищим подавать на помин. А без покаяния, боюсь, что мертвые найдут на них, и все они чредом сойдут в могилу. Помирать все будут скоропостижной смертью.

Прошу Ваших святых молитв! Ваш племянник Василий.

Дорогой крестный, Кузьма Иванович, простите меня, грешного, что несколько лет не писал Вам. Все лень да недосуг. Сегодня у меня велик день. Сегодня отец настоятель совершил мой постриг в иноческий чин в рясофор. Облекли меня в рясу, дали в руки крест, четки и нарекли Игнатием в честь св. Игнатия Богоносца. Меня навестила мать. Плакала и горевала, что я принял иночество, и посему она никогда не увидит своих внуков. Я ее утешал: «Не плачь, мамушка, что мне присвоили ангельский чин. Бог даст, и со временем у меня будет много духовных детей, а у тебя десятки внуков». Мать сообщила мне, что у соседей Ларионовых уже началось умертвие, и из дома сразу вынесли два гроба. Безвременно в одночасье скончались оба супруга. Хозяин на плите забыл чайник, а он кипел и залил огонь. Газ пошел по квартире, и они отравились. Синие были, как удавленники. Гробы везли на заковрованной машине. За гробами шли музыканты и на трубах играли то похоронный марш, то «Интернационал», потому что оба были партийцы. В крематории нанятый оратор сказал такую чувствительную речь, что все плакали, когда гробы опускались в преисподнюю, в печь огненную. Когда мать вышла во двор, из квадратной трубы крематория валил черный жирный дым. А какой-то пья-

ленький бомж кричал, что он видит, как над трубой вьются демоны и громадными ноздрями сладострастно нюхают этот черный смрадный дым. Дорогой крестный, как ни трудно, но я со смирением несу послушание, которое возлагает на меня отец эконоом. Вначале я день за днем для поварни колол дрова. Парень я крепкий, и поленья под моим колуном разлетались, как орешки. Кухня всегда была обеспечена дровами, и отец кашевар даже похвалил меня за усердие перед экономом и отцом благочинным. Одно было тяжело, по молодости все время хотелось спать, а старец Пафнутий по ночам, на первом куроглашении, будил и поднимал читать Полунощницу. Первое время я прямо стоя засыпал и падал у икон, но старец выливал мне на голову ковш холодной воды и кричал: «Се Жених грядет в полунощи!» – и я продолжал чтение. Не знаю, когда спит сам отец Пафнутий, какой-то он неусыпаемый. Всегда стоит на молитве с четками в руке перед образами, и борода его так и ходит от того, что молитва у него – самодвижная. Старец учил меня, что молитва у новоначальных бывает сперва читальная по молитвослову. Молитвы эти составлены святыми подвижниками и очень питательны для незрелого ума и неискушенной души. Читаешь утренние и вечерние молитвы, и ум катится как по рельсам, а душа умиротворяется и стремится соединиться с Богом. А когда же человек начинает духовно созревать, у него пробивается вперед собственная молитва, идущая к Богу от сердца. Уж тут раб Божий расстилается душою перед Богом, и наградой ему бывает мирность душевная и незлобие. А следующая ступень духовного восхождения бывает благодатная Иисусова молитва, которая вначале не сходит с языка и постоянно вращается в устах. Поэтому и называется она – устная. Молитвенник так привыкает, так сродняется с устной молитвой, что постепенно она все больше и больше переходит с языка в ум и начинает вращаться в уме и потому ее уже называют умной молитвой. И если неотступно заниматься умной молитвой, то она переходит в грудную полость и входит в сердце, и вместе с ударами оно начинает творить Иисусову молитву, которая уже будет называться сердечной молитвой.

Как устная молитва, так и умная, и сердечная могут входить в плоть и кровь человека и так срастаются с ними, что делаются самодвижной молитвой, то есть уже не зависящей от сознания и постоянно движимой Духом Святым.

Вот так старец Пафнутий толковал мне об Иисусовой молитве: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного».

Дорогой крестный, я, слава Богу, жив, здоров, чего и Вам желаю. Отец эконоом назначил мне новое послушание и приставил меня к просфорне. Послушание это одно из ответственных и тяжелых. Начальствует здесь в просфорне отец Псой. Конечно, вначале у меня ничего не получалось, но, по молитвам моего старца отца Пафнутия, дело пошло на лад. Я оказался ловким в просфорном деле, и отец Псой похвалил меня и спек мне вкусную булочку с изюмом. Пришло письмо от матери. Пишет, что больна, боится умереть и просит приехать навещать. Отец Наместник, по этому случаю, благословил меня съездить в Ленинград. Ехать надо было, хотя и не хотелось покидать монастырь. За монастырскими стенами было так хорошо, так уютно, а главное – надежно. В храме служба идет круглосуточно: утренняя, вечерняя, обедня, а ночью читается негасимая Псалтирь. А уж звоном колокольным все вызвонят, выметут всю нечисть за монастырские стены. Поэтому здесь так легко дышится и постоянная мирность душевная. Не то в миру, где кругом искушения, да и невидимый враг – диавол – аки лев бродит в поисках, кого бы поглотить.

Мать моему приезду была рада, и, к счастью, болезнь ее была не к смерти, и доктора обещали скорую поправку. Спать в эту ночь я не мог, потому что у Ларионовых играли свадьбу. Женился уже взрослый сын, который учился на инженера. Всю ночь кричали: «Горько!» Бегали на лестницу, орали, пели, тискали девок, хорошо еще драки не было.

Все это после монастыря было мне дико и противно.

Дорогой крестный, простите, что долго не писал. Много забот, послушание и молитвенное делание занимают все время. Сегодня меня постригли в мантию – сиречь, в малую схиму. Все, уже возврата в мир нет. Да и не нужен мне этот мир греховный и прелюбодейный. Мать писала, что в семье Ларионовых родился сын. А мне дали новое послушание: помогать отцу Адриану при изгнании демонов из бесноватых. Вчера старец Пафнутий началил меня посохом за нерадивость в ночных молениях. Ветхий старец, а дерется больно. Он бьет меня посохом, а я только кричу: «Прости, отче! Прости, отче!» Новое послушание тоже не сахар. Лучше бы мне колоть дрова или круглые сутки печь просфоры, нежели возиться с бесноватыми. Моя обязанность – соблюдать порядок среди них, когда их приводят на отчетку в храм. Ужасно свирепые эти бесноватые. Пока я нахожусь среди них, они стараются покрепче ущипнуть меня, лягнуть каблуком, наступить на ногу, дернуть за волосы. Все время я хожу в синяках и молюсь: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.